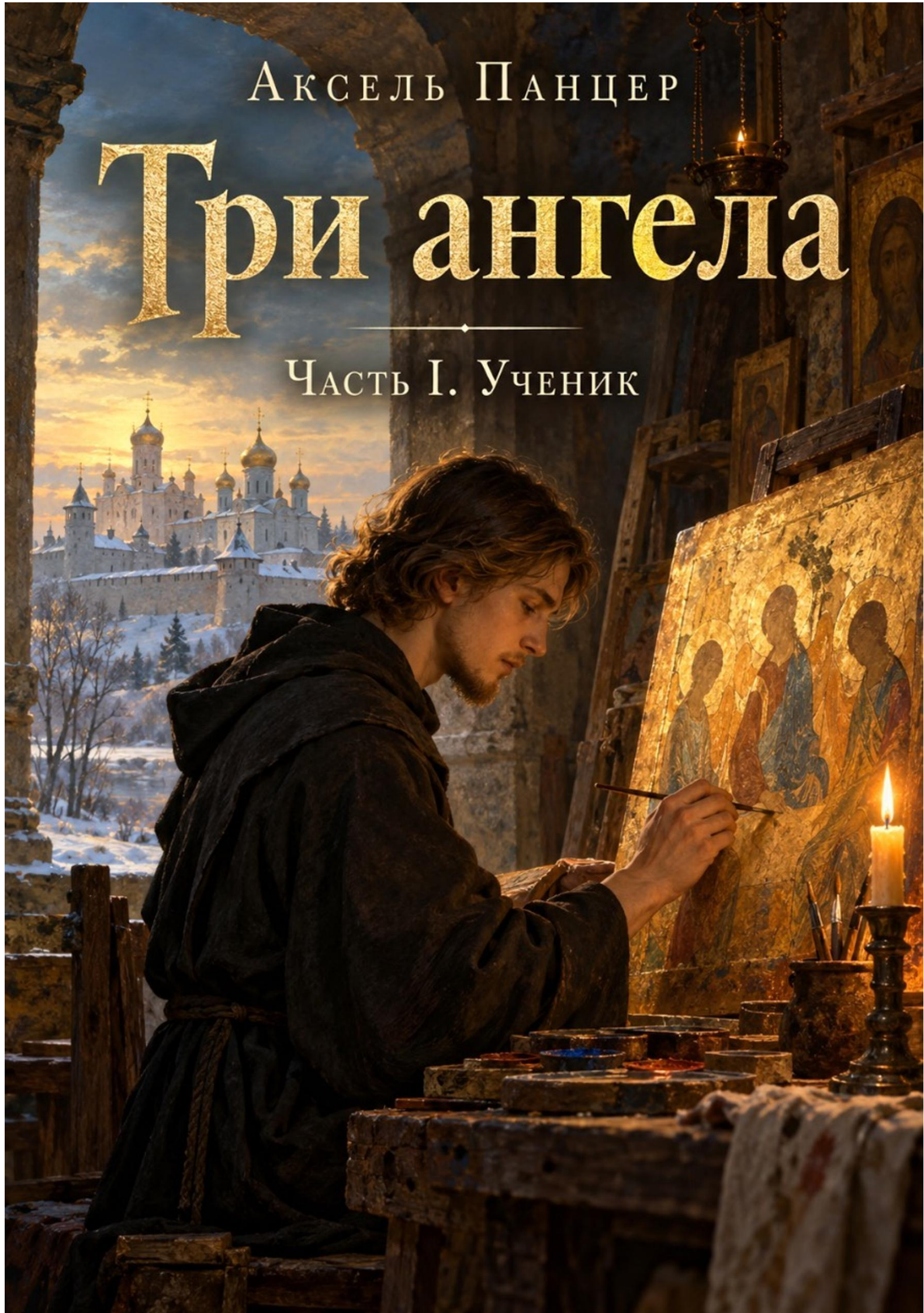


АКСЕЛЬ ПАНЦЕР

Три ангела

Часть I. Ученик



Аксель Панцер

Три ангела. Часть I. Ученик

«Автор»

2026

Панцер А.

Три ангела. Часть I. Ученик / А. Панцер — «Автор», 2026

Юный Андрей Рублёв только ищет свой путь в искусстве и вере. Между монастырской тишиной, дорогами Руси, огнём пожарищ и шумом Москвы он учится видеть не только линию и цвет, но и душу человека. Рядом с ним — Савватий, Даниил Чёрный, Прохор с Городца и Феофан Грек. Первая часть романа рассказывает о становлении мастера, о борьбе между каноном и живым ликом, о цене внутренней свободы и о первых шагах художника, которому суждено создать «Троицу».

© Панцер А., 2026

© Автор, 2026

Аксель Панцер

Три ангела. Часть I. Ученик

ТРИ АНГЕЛА

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УЧЕНИК

Аксель Панцер

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Свет	3
Глава 2. Москва	14
Глава 3. Лик	30
Глава 4. Рука Феофана	46
Глава 5. То, что остаётся после огня	65
Глава 6. Даниил	80
Глава 7. Возвращение	98
Глава 8. Чистая доска	113
Глава 9. Прохор с Городца	131
Глава 10. Образец	154
Глава 11. Две правды	171
Глава 12. Три мастера	189

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СВЕТ

Снег выпал ночью.

Ещё вечером земля была чёрной и тяжёлой от поздней осенней воды. Дорога возле монастырской стены блестела под редким светом месяца, в колеях стояли длинные лужи, похожие на полосы тёмного железа, а со стороны леса тянуло сырой хвоей и прелыми листьями. Ветер весь вечер ходил вокруг построек, задевая ставни и поднимая с земли мелкий мусор, но ближе к полуночи вдруг стих. Тогда и пошёл снег — без метели, без шума, так тихо, словно небо решило ничего не менять, а только укрыть всё прежнее новой белизной.

К утру мир стал другим. Снег лёг на крыши келий, на поленницы, огородные гряды и старые пни возле стены. Даже колья частокола, ещё вчера грубые, серые, местами обросшие мхом, теперь стояли в белых шапках и казались не такими суровыми. На монастырском дворе уже виднелись первые следы: широкие сапоги брата, ходившего к скотному двору, тонкая цепочка птичьих лапок возле амбара, полукруглая борозда от ведра, которое кто-то тащил к колодцу.

Андрей увидел снег сразу, как только вышел из кельи, и остановился на крыльце.

Братия уже шла к утренней службе. Кто-то торопился, придерживая полы тёмной рясы, кто-то на ходу натягивал рукавицы, кто-то негромко кашлял в кулак. Мороз был ещё слабый, первый, но после сырой осени казался крепким. Дыхание становилось белым и на мгновение зависало перед лицом. Из трапезной тянуло вчерашним дымом и хлебом; у конюшни лошадь стукнула копытом о деревянную перегородку; на колокольне послышались шаги звонаря.

Андрей смотрел не на снег. Он смотрел на свет.

Солнце ещё не поднялось. За монастырской стеной небо только начинало светлеть, и оттого снег не был белым. На открытом месте он казался голубоватым, возле деревянных стен — серым, под крыльцом почти синим, а там, где из трапезной падала узкая полоса света,

неожиданно становился тёплым, желтоватым. Андрей чуть повернул голову. Если смотреть прямо — одно. Если немного сбоку — совсем другое.

Он присел и коснулся пальцами снега. Тот оказался рыхлым, лёгким. На ладони быстро потемнел и превратился в прозрачную каплю.

— Замёрзнешь.

Андрей поднял глаза. На дорожке стоял старец Савватий — невысокий, сутулый, с редкой седой бородой и привычно недовольным выражением, которое исчезало лишь тогда, когда он действительно сердился. Когда-то он сам много писал, теперь чаще растирал краски, готовил доски, следил за молодыми и особенно не терпел, если кто-нибудь оставлял кисти непромытыми.

— Не замёрзну.

— Все так говорят, пока не замёрзнут.

Савватий посмотрел на его мокрую ладонь.

— Чего ты там нашёл?

— Свет.

Старец некоторое время молчал, потом перевёл взгляд на снег.

— Свет наверху.

Андрей тоже посмотрел вверх.

— А здесь отражается.

Савватий хмыкнул.

— Иди службу отражай, пока игумен не спросил, почему у него один инок снегу молится.

Он пошёл дальше, покачивая головой. Андрей улыбнулся и поспешил следом, но уже у самых дверей храма ещё раз обернулся. Солнце показалось над стеной — совсем немного, тонкой золотой полоской, — и снег сразу изменился. Там, где мгновение назад лежала холодная голубая тень, появилась тёплая искра.

Ему иногда казалось, что весь мир существует именно для таких превращений.

После службы братия шла в трапезную почти молча. Столы были длинные, потемневшие от времени. В мисках дымилась простая каша; хлеб резали толстыми ломтями, потому что зимой он быстро черствел. За чтением жития слышались только осторожный стук деревянных ложек и редкий кашель. Андрей ел быстро. Ему хотелось в мастерскую. Он ловил себя на том, что смотрит, как серый утренний свет ложится на лица сидящих напротив: у стариков западает под скулы, у молодых держится на лбу, на носу, на верхней губе. Даже здесь, где никто не думал о живописи, свет продолжал учить.

После трапезы он почти сразу пошёл в иконописную палату.

Так называли небольшое помещение возле одной из хозяйственных построек, хотя палатой оно было разве что по монастырским меркам. Два маленьких окна, низкий потолок, широкая печь. Возле стен стояли доски — некоторые ещё новые, пахнувшие липой, другие уже проклеенные и покрытые левкасом. На полках теснились горшочки, чашки, каменные плиты для растирания пигментов, связки кистей. Здесь пахло деревом, яичным желтком, сухими травами, чесноком, которым иногда протирали поверхность, мелом и клеем. И ещё чем-то, что Андрей не умел назвать, но всегда узнавал, едва переступив порог: запахом работы.

Савватий уже был там. Он сидел у стола и растирал киноварь. Каменный курант двигался по плите медленно, с негромким шорохом. Красный порошок сначала лежал россыпью, потом собирался в густую массу. Старец время от времени добавлял воду и снова принимался растирать.

— Опоздал, — сказал он, не поднимая головы.

— После службы заходил к отцу Никону. Просил помочь перенести книги.

— Книги сами ходить не умеют?

— Не умеют.

— То-то и беда. Люди тоже не всегда умеют, а их никто не переносит.
В другом углу молодой послушник Фома засмеялся. Савватий сразу обернулся.
— А ты чего зубы показываешь? У тебя архангел третий день без руки стоит.
Фома мгновенно уткнулся в доску.
— Я закончу сегодня.
— Вчера говорил то же.
— Сегодня точно закончу.
— Когда человек говорит «точно», чаще всего это значит, что сам не уверен.
Савватий снова занялся киноварью.

Андрей снял верхнюю одежду, сел возле окна и придвинул к себе небольшую доску. На ней был начат лик святого. Работа предназначалась не для большого храма: небольшую икону заказал состоятельный московский человек, имя которого Андрей не запомнил. Савватий позволил ему написать часть одежды и фон, а накануне неожиданно доверил начать лик.

Андрей долго смотрел на доску. Тёмный санкирь уже высох. Из этой темноты постепенно должно было появиться лицо. Он взял тонкую, почти невесомую кисть, размешал охру и провёл первую линию. Потом вторую. Работал медленно: лоб, нос, скула, подбородок. Он знал порядок, знал, куда должно лечь первое высветление и куда второе, как провести линию возле глаза и как положить движки на лоб.

Но сегодня ему мешало окно. Вернее, человек за окном.

На дворе брат Пахомий рубил дрова. Обычная работа, которую Андрей видел сотни раз. Пахомий поднимал топор, коротко задерживал его над головой и опускал. Полено раскалывалось. Он ставил следующее. Но свет падал на него сбоку. Одна половина лица была освещена, другая оставалась в тени. И каждый раз, когда Пахомий наклонялся, лицо менялось.

Андрей отложил кисть. Посмотрел. Пахомий выпрямился, провёл рукавом по лбу. На щеке появилась тень — совсем небольшая, но из-за неё щека сразу стала круглой, живой. Андрей перевёл взгляд на икону, потом опять на Пахомия. Что-то не давало ему покоя.

Он снова взял кисть. Добавил в охру немного светлого. Очень немного. Провёл по скуле. Остановился. Посмотрел. Ещё. Кисть едва коснулась доски.

Савватий поднял голову. Он ничего не сказал. Андрей этого не заметил.

Теперь существовал только лик. Если здесь сделать чуть светлее, а здесь, возле носа, оставить темнее, лицо словно начинало выходить из плоскости — не резко, почти незаметно. Андрей наклонился ближе. Глаз можно было углубить. Совсем немного. Так, как у человека.

Он приготовил более тёмную смесь.

— Андрей.

Кисть остановилась.

— Что?

— Отойди.

— Куда?

— От доски. На два шага.

Он послушался. Савватий тоже встал, подошёл и долго смотрел на икону. Фома перестал работать и незаметно повернул голову.

Савватий посмотрел на него.

— Архангел.

Фома поспешно отвернулся.

Старец снова приблизился к доске.

— Что ты делаешь?

— Пишу.

— Это я вижу. Почему здесь темнее?

Он указал ногтем возле глаза.

Андрей немного помедлил.

— Потому что глаз глубже.

— Чего?

— Глаз. Он не лежит на поверхности. Здесь кость, здесь впадина. Поэтому свет...

Савватий медленно выпрямился.

— Я знаю, где у человека глаз.

В голосе не было раздражения. Это было хуже. Старец говорил совершенно спокойно.

— Тогда почему мы не показываем этого?

В палате стало тихо. Даже Фома теперь не шевелился.

Савватий взял доску обеими руками и поставил ближе к окну. Свет лёг на лик. Некоторое время старец смотрел молча, потом спросил:

— Красиво?

Андрей не ожидал вопроса.

— Не знаю.

— Знаешь.

Он снова посмотрел. Да. Красиво. Лицо уже начинало жить. Едва заметно, но Андрей видел.

— Красиво, — сказал он.

Савватий кивнул.

— Вот потому и опасно.

Андрей нахмурился.

— Красота опасна?

— Иногда. Особенно для того, кто её создаёт.

Он поставил доску обратно, вернулся за стол, но киноварь больше не растирал. Сложил руки перед собой и некоторое время смотрел на красную краску.

— Был у меня когда-то учитель. Старый. Злой, как февральский волк. Если линию поведёшь не туда — молчал. Если краску испортишь — тоже молчал. А если кто-нибудь скажет, что хорошо написал, мог неделю с человеком не разговаривать.

Фома опять осторожно повернулся. Савватий сделал вид, что не заметил.

— Я думал тогда: глупый старик. Чего сердиться, если ученик сделал хорошо? Потом понял. Не хорошей работы он боялся. Радости нашей боялся.

Он поднял глаза на Андрея.

— Радоваться нельзя?

— Можно. Только надо знать, чему радуешься. Если радуешься тому, что образ получился, — одно. Если тому, что это ты его написал, — другое.

Андрей снова сел.

— Но разве мастер не должен стараться писать лучше?

— Должен.

— Тогда где остановиться?

Савватий посмотрел на него внимательнее. Этот вопрос, кажется, заинтересовал его больше остальных.

— Вот когда узнаешь, станешь мастером.

— А ты знаешь?

Старец неожиданно усмехнулся.

— Нет.

Фома не удержался и тихо фыркнул. На этот раз Савватий даже не сделал ему замечания.

— Никто не знает, Андрей. Потому и работаем всю жизнь. Только запомни одно. Икона — не окно, через которое ты подглядываешь за миром.

Андрей посмотрел на настоящее окно. Пахомий всё ещё рубил дрова.

— А что?

— Дверь.

— Куда?

Савватий пожал плечами.

— Если бы я знал, давно бросил бы кисти и только молился.

Он снова придвинул к себе киноварь. Разговор, по-видимому, закончился.

Но Андрей не брался за кисть.

— Отец Савватий.

— Что ещё?

— Если дверь написана плохо, её ведь никто не откроет.

Старец замер. Курант лежал у него в руке. Фома теперь смотрел уже открыто. Савватий медленно повернулся к Андрею. На лице его не было ни гнева, ни улыбки — только усталость.

— Вот за такие вопросы, Андрей, тебе когда-нибудь будет очень трудно.

— Почему?

— Потому что ты спрашиваешь не тогда, когда не знаешь ответа. Ты спрашиваешь, когда ответ тебе уже не нравится.

После обеда Андрей пошёл за водой. Снег начал таять. С крыш капало. На дорожках появилась грязь, а возле колодца снег был истоптан множеством ног и стал почти серым.

Он опустил ведро. Верёвка закрипела. Снизу послышался плеск. Андрей медленно вытянул воду и поставил ведро на край. На поверхности дрожало отражение неба.

Он наклонился. В воде появилось его лицо — тёмное, искажённое. Ветер прошёл по поверхности, и лицо исчезло. Андрей дождался, пока вода успокоится. Лицо вернулось. Он коснулся воды пальцем. Круги разошлись от руки, разбили отражение на части.

Почему человек узнаёт себя даже в воде? Не потому ведь, что вода повторяет каждую черту. Она ничего не повторяет точно. И всё-таки он знал: это я.

Мысль показалась странной.

Он поднял ведро и пошёл к трапезной. Возле ворот стояли путники: старик, женщина и мальчик лет десяти. Одежда мокрая, сапоги в грязи. Мужчина разговаривал с привратником, женщина держала ребёнка за плечо. Андрей прошёл мимо, потом остановился.

Мальчик смотрел на него. Худое лицо, очень светлые глаза, на правой щеке — грязная полоса. Но Андрей опять заметил не это. Свет. Солнце вышло из-за облака всего на мгновение, и лицо мальчика словно разделилось надвое. Один глаз оказался в тени, второй блеснул. Точно так же, как утром у Пахомия.

Мальчик отвёл взгляд.

Андрей пошёл дальше. Позади раздался голос женщины:

— Сынок, потерпи. Сейчас пустят.

Через несколько шагов Андрей опять остановился.

«Потерпи».

Самое обычное слово. На Руси его говорили часто. Терпели холод, неурожай, княжеские усобицы, татарскую дань, пожары, болезни, смерть детей, долгие зимы и короткое лето. Терпели то, что нельзя было изменить, и то, что менять боялись. Иногда Андрею казалось, что вся земля держится на этом слове.

Потерпи.

Он оглянулся. Ворота открылись. Женщина перекрестилась. Мальчик вошёл первым.

Вечером Андрей снова вернулся в мастерскую. Никого уже не было. Только печь ещё хранила тепло. На столе стояла его доска.

Он зажгёт лучину. Потом ещё одну. Свет был плохой для работы — неровный, красноватый. От каждого движения по стенам бежали тени. Андрей не собирался писать. Он только хотел посмотреть.

Сел. Поставил икону перед собой. Лик едва проступал из темноты. При дневном свете Андрей видел то, что сделал, иначе. Сейчас же лицо казалось почти плоским.

Он приблизил лучину. Появилась тень возле носа. Отодвинул — исчезла. Снова приблизил — опять появилась. Андрей медленно провёл ладонью перед огнём. Лик изменился.

Свет двигался — и вместе с ним менялось лицо.

Но святой не должен меняться.

Эта мысль пришла неожиданно. Андрей опустил руку.

Человеческое лицо менялось каждое мгновение: от света, от страха, от радости, от возраста, от болезни, от любви, от ненависти. Сегодня человек молод, завтра стар. Сегодня улыбается, завтра лежит в земле.

А образ? Он должен быть другим. Не таким, каким человек бывает сейчас. Таким, каким он остаётся.

Андрей вдруг понял, что именно пытался сказать Савватий. И всё же что-то внутри сопротивлялось.

Если Господь создал человеческое лицо объёмным — почему художник должен делать его плоским?

Он испугался собственной мысли. Быстро перекрестился. Посидел. Потом тихо сказал: — Прости.

Сам не зная, кому: Богу, святому на доске, Савватию или самому себе.

Он поднялся, собираясь уйти. У двери остановился. Обернулся. Из темноты на него смотрел незаконченный лик.

Андрей подошёл обратно. Очень долго стоял. Потом взял кисть. Смешал краску. Коснулся доски один раз — едва заметно. Сделал переход возле скулы мягче. Отступил. Теперь лицо стало чуть полнее. Почти невозможно было понять почему.

Никто, возможно, и не заметил бы. Но Андрей видел.

Он смотрел несколько мгновений, потом вдруг быстро провёл пальцем по свежей краске и стёр написанное. Остался грязный след. Андрей вытер его влажной тканью. Снова посмотрел. Лицо вернулось к прежнему виду.

Так было правильно.

Наверное.

Он погасил одну лучину. Комната стала темнее. Потом вторую. И прежде чем закрыть дверь, ещё раз посмотрел туда, где на столе оставалась икона. В темноте уже ничего нельзя было различить: ни света, ни тени, ни лица. Только маленькое окно напротив отражало слабое зимнее небо.

Андрей вышел наружу. Снег снова начинался. Крупные хлопья медленно падали между монастырскими постройками. Один лёг ему на рукав, другой — на ладонь. Андрей поднял голову. Над монастырём небо было тёмным, но за облаками светила луна, и потому сами облака казались изнутри чуть светлее.

Свет был там, где его нельзя было видеть.

Но Андрей знал, что он есть.

Он стоял долго, пока с колокольни не ударили к вечернему правилу. Тогда очнулся, перекрестился и пошёл через двор.

Он ещё не знал ни Феофана Грека, ни великих московских храмов, ни владимирских стен, на которых когда-нибудь под его рукой возникнут лица Страшного суда. Не знал, сколько увидит человеческой жестокости, сколько раз спросит себя, имеет ли смысл писать свет там, где люди так упорно выбирают тьму. Не знал и того, что однажды перед ним окажется большая липовая доска и на ней будут стол, чаша, дом, дерево, гора и три ангела.

Но в тот первый снежный вечер всё это уже было где-то впереди — как луна за облаками: невидимое и всё-таки существующее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МОСКВА

Москва встретила их грязью.

Снег, ещё несколько дней назад лежавший на полях ровным белым полотном, здесь был истоптан копытами, санными полозьями и человеческими ногами. У городских ворот он превратился в тяжёлую серую кашу, в которой застревали сапоги. Телеги медленно ползли одна за другой, возчики кричали на лошадей, извозчики ругались, кто-то тащил связку хвороста, кто-то — мешок муки, а совсем рядом двое мальчишек делили найденный кусок замёрзшей репы и никак не могли решить, кому достанется большая половина.

Андрей остановился прежде, чем войти в ворота.

Перед ним была не та Москва, которую можно увидеть издали: не линия стен, не купола над дымом, не княжеский город из рассказов. Вблизи она была тесной, шумной, мокрой. Деревянные дома стояли близко друг к другу, над дворами тянулись жерди с сушившейся одеждой, у ворот валялась солома, возле лавок темнели лужи. Из труб и отверстий под крышами шёл дым. Он не поднимался прямо, а стелился между домами, смешиваясь с запахами дёгтя, рыбы, навоза, горячего хлеба и человеческого жилья.

— Ты чего? — спросил Савватий.

Старец шёл рядом, согнувшись под небольшой котомкой. В Москву их отправили по монастырским делам: нужно было привезти несколько досок, получить заказанные пигменты и передать письмо одному из духовных лиц.

Андрей смотрел на город.

Он бывал здесь прежде, но всякий раз Москва казалась ему другой. Город рос не вверх, а во все стороны, словно живое существо, которому становилось тесно в собственной коже. За деревянными стенами теснились дворы, церкви, амбары, кузницы, лавки. Над крышами поднимался дым. Иногда между постройками неожиданно появлялась колокольня, и тогда казалось, будто город, весь составленный из дерева, грязи, дыма и человеческого шума, вдруг вспоминает о небе.

— Ничего, — ответил Андрей.

— Тогда идём.

Савватий сделал несколько шагов, но, не услышав за собой ног, обернулся.

— Опять свет?

Андрей улыбнулся.

— Нет.

— Уже хорошо.

— Люди.

— Это хуже.

Савватий сказал так серьёзно, что Андрей не сразу понял, шутит ли тот.

Они вошли в город.

Москва шумела. В монастыре шум тоже был: колокол, топор, разговоры братии, собачий лай, скрип колодезного ворота. Но всё это существовало отдельно и никогда не сливалось в одно. Здесь звуки сталкивались. Кузнец бил молотом. Женщина торговалась из-за рыбы. Где-то плакал ребёнок. Из лавки доносился смех. По улице ехал всадник, и люди поспешно отходили к стенам домов.

Навстречу брела старуха с вязанкой дров, почти скрывавшей её целиком. Рядом семенил мальчик и придерживал рукой один конец верёвки, хотя было видно, что никакой помощи от него нет. У ворот пекарни мужчина выносил на доске круглые хлебы, и пар от них на миг смешивался с морозным воздухом. На перекрёстке стоял человек с клеткой, в которой метались куры. Чуть дальше сапожник, не прекращая работы, ругался с заказчиком из-за цены.

Андрей невольно замедлял шаг. Ему хотелось рассматривать лица.

Вот мясник — красный от холода, широколицый, с короткой бородой. Вот молодая женщина с длинным носом и усталым взглядом, несущая корзину яиц. Вот человек в дорогой шубе, который смотрит на всех так, будто улица принадлежит ему. Вот нищий, сидящий возле церковной стены. Андрей поймал себя на том, что мысленно раскладывает лица на свет и тень. У мясника широкие скулы — свет задерживается на них. У женщины глаза глубоко посажены — почти всё верхнее веко в тени. У богатого человека тяжёлые мешки под глазами. У нищего лицо настолько худое, что кожа будто натянута на кости.

Он вспомнил незаконченный лик в монастырской мастерской. И опять появилось неприятное ощущение: будто он знает нечто, чего знать не должен.

— Не пялся, — сказал Савватий.

— Я не пялюсь.

— Тогда чего головой вертишь?

— Смотрю.

— Это и называется пялиться, только по-монашески.

Они свернули на более узкую улицу. Здесь пахло дегтем, навозом и дымом. У одного дома стоял гончар. На земле перед ним были расставлены миски, крынки, небольшие кувшины. Некоторые совсем простые, другие покрыты несложным узором.

Андрей остановился возле одного сосуда.

Савватий вздохнул.

— Теперь что?

— Посмотри.

— На горшок?

— На свет.

— Андрей...

— Нет, правда.

Он взял небольшой кувшин и повернул его. С одной стороны глина была почти белой, с другой уходила в тёмно-серое.

— Видишь?

Савватий посмотрел.

— Вижу горшок.

— Он круглый потому, что здесь светлее, а здесь темнее.

— Он круглый потому, что гончар его круглым сделал.

Гончар, слышавший разговор, засмеялся.

— Правильно говорит, отец.

Андрей поставил кувшин обратно.

— А если написать его на доске?

— Зачем? — спросил Савватий.

— Просто.

— Ничего не бывает просто.

Старец взял Андрея за рукав и потянул дальше.

— Пошли. Мы за красками пришли, а не за богословием горшков.

Гончар всё ещё смеялся им вслед.

На торговой площади было теснее. Здесь продавали всё: рыбу, мёд, полотно, железо, воск, кожи, лук, сушёные грибы, иконы. Андрей заметил их сразу.

Под навесом стоял стол, а на нём были прислонены к стене небольшие образа. Работа была разная. Некоторые написаны уверенной рукой. Другие — поспешно. На одном святой имел странно длинную шею. На другом глаза были поставлены так близко, что лицо казалось детским.

Андрей остановился.

Продавец, пожилой мужчина в меховой шапке, сразу оживился.

— Посмотри, отец. Хорошая работа. Недорого.

Савватий приблизился.

— Чья?

— Мастера хорошие.

— Имя.

Торговец развёл руками.

— Зачем имя? Образ хороший.

— Вот я и спрашиваю, чей.

— Московских мастеров.

Савватий взял одну икону, посмотрел, вернул. Потом другую.

Андрей наблюдал за ним.

— Что? — спросил торговец.

— Ничего.

— Значит, хорошие?

— Значит, ничего.

Продавец обиделся.

— Ты сам-то пишешь?

— Писал.

— Тогда знаешь, сколько труда.

— Потому и говорю.

Савватий повернулся к Андрею.

— Идём.

Но Андрей продолжал смотреть на одну из икон. Там был написан Спас. Лик получился грубым, почти неподвижным. Но глаза были странные. Художник, кем бы он ни был, сделал их чуть неравными. Один казался мягче, другой — строже. Из-за этого выражение менялось, если смотреть с разных сторон.

Андрей наклонился ближе.

— Эту кто писал?

Торговец пожал плечами.

— Не знаю.

— Откуда она?

— Принесли.

— Кто?

— Отец, покупаешь?

— Я спросил.

Торговец уже потерял интерес.

— Много кто приносит.

Андрей ещё немного постоял. Потом ушёл. Но глаза Спаса остались с ним.

До мастерской, куда они направлялись за пигментами, добрались ближе к полудню. Хозяин, Семён, был человеком маленьким, быстрым и очень разговорчивым. Он торговал красками, золотом, кистями и всем тем, что могло понадобиться иконописцу.

— Савватий! — воскликнул он, увидев старца. — Думал, помер ты.

— И я рад тебя видеть.

— Нет, правда думал.

— Спасибо.

Семён засмеялся.

— Садитесь. Сейчас покажу, что пришло.

Помещение было тёмное, но тёплое. По стенам стояли мешочки и коробки. В углу висели связки кистей. На столе лежало несколько пластин сусального золота, каждая тоньше сухого листа.

Семён начал выкладывать товар.

— Охра хорошая. Из-за реки привезли. Киноварь тоже есть. Дорогая, правда.

— У тебя всё дорогое, — сказал Савватий.

— Потому что хорошее.

— В прошлый раз говорил то же самое.

— И что?

— Киноварь почернела.

Семён возмутился.

— Не могла.

— Почернела.

— Значит, не моя.

— Твоя.

— Не моя.

— Твоя.

Они некоторое время смотрели друг на друга.

Андрей ждал продолжения.

Наконец Семён махнул рукой.

— Ладно. На эту цену уступлю.

Савватий удовлетворённо кивнул.

— Вот теперь твоя.

Семён рассмеялся.

Пока они торговались, Андрей подошёл к дальнему столу. Там лежал небольшой обломок синего камня. Он взял его.

— Не трогай, — быстро сказал Семён. — Дорогой.

— Что это?

— Лазорь.

Андрей повернул камень в руке. Синий был глубоким, почти тёмным, но возле края возникал чистый, холодный свет.

— Красивый.

— Вот потому и дорогой.

Савватий подошёл.

— Нам такое не нужно.

— Почему?

— Потому что монастырь не княжеская казна.

Семён спрятал камень.

— Москву скоро всю золотом писать будут.

— Откуда такая радость?

— Работа идёт.

— Где?

Семён посмотрел на них, словно удивляясь их неведению.

— В Кремле. Благовещенский, слышали?

— Слышали.

— Мастеров собирают. Феофан там.

Андрей поднял голову.

Имя он слышал. Редко. Всегда с особым выражением. О Феофане Греке говорили так, как говорят о человеке, которого большинство никогда не видело, но каждый что-нибудь о

нём знает. Одни утверждали, что он пишет быстрее, чем другой мастер успевает приготовить краску. Другие — что никогда не смотрит на образец. Третьи рассказывали, будто во время работы он разговаривает с людьми и даже ходит по мастерской, а потом возвращается к стене и продолжает точно с того места, где остановился. Говорили, что он расписывал великие города, что видел Константинополь, знает книги, может спорить с учёными людьми. И ещё говорили, что лица у него страшные. Не уродливые. Страшные иначе: будто человек на стене знает о тебе всё.

— Феофан Грек? — переспросил Андрей.

Семён сразу повернулся к нему.

— А ты видел?

— Нет.

— Увидишь — запомнишь.

Савватий бросил на торговца недовольный взгляд.

— Не набивай мальчишке голову.

— Какой мальчишка? Он уже вон какой.

— Для глупости возраст не помеха.

Андрей пропустил слова мимо ушей.

— Он действительно пишет без образца?

Семён пожал плечами.

— Говорят.

— Кто говорит?

— Люди.

— Какие?

— Андрей, — вмешался Савватий, — если спросить ещё раз, люди станут другими?

Тот замолчал. Но имя уже засело в голове.

Феофан.

Когда они вышли, день стал яснее. Солнце стояло низко. Дым над крышами был золотистым. Они должны были ещё передать письмо. Дорога привела их ближе к Кремлю.

Здесь Андрей опять почувствовал, как меняется город. Людей становилось больше. Проезжали всадники. У ворот стояли вооружённые люди. Из-за стен поднимались церкви. Савватий шёл уверенно, будто бывал здесь много раз.

— Мы зайдём внутрь? — спросил Андрей.

— Куда?

— В Кремль.

— Письмо туда.

Андрей ничего не сказал, но прибавил шаг.

Старец заметил это.

— Только не беги. Феофан не убежит.

— Я ничего не говорил.

— Ты так молчишь, что слышно.

Их пропустили не сразу. Савватий назвал имя человека, которому предназначалось письмо, показал печать. Наконец они оказались внутри.

Андрей ожидал чего-то другого. Не знал чего. Наверное, тишины. Но и здесь работали. Кто-то носил доски. Кто-то тащил камень. Где-то стучали. Лошади месили копытами грязь. Возле одной из построек спорили два человека.

— Туда, — сказал Савватий.

Они прошли ещё немного.

Благовещенский собор Андрей увидел сбоку — не тот, который появится здесь много десятилетий спустя, а более ранний храм, теснее и строже. Но Андрей всё равно замедлил шаг.

Храм всегда действовал на него одинаково. Не размером. Не богатством. А тем, что внутри него человек пытался вместить то, что не вмещалось ни в камень, ни в дерево, ни в слово: небо, Бога, вечность. И для этого строил стены. А потом покрывал их изображениями.

Андрей иногда думал: может быть, сама человеческая жизнь устроена так же? Человек знает, что не способен вместить бесконечность, но всё равно оставляет для неё место.

Они вошли.

Свет внутри был иной. Узкие окна пропускали его скупое. Где-то пахло сырой штукатуркой, где-то — воском. Работа ещё шла. Андрей сразу увидел несколько мастеров: один стоял на помосте, другой готовил краску, третий спорил с кем-то внизу.

Савватий направился к человеку возле двери. Андрей остался чуть позади. Он смотрел на стены. Не всё было закончено. И от этого храм казался почти живым — будто образ ещё только возникал из камня.

— Не туда.

Голос раздался неожиданно близко.

Андрей обернулся. Перед ним стоял мужчина. Невысокий. Не молодой. Одежда испачкана краской. Лицо сухое, борода с проседью. Глаза тёмные и очень внимательные.

Он говорил не с Андреем, а с молодым помощником, который держал чашку.

— Я сказал: больше охры.

— Я добавил.

— Ты испугался.

— Чего?

— Охры.

Помощник растерялся.

— Нет.

— Значит, меня.

Несколько работников улыбнулись.

Мужчина взял чашку, посмотрел, потом добавил что-то сам. Размешал.

— Краска тоже чувствует страх, — сказал он. — Испугался положить — получишь грязь.

— Краска ничего не чувствует, — возразил помощник.

Мужчина поднял на него глаза.

— Тем хуже для тебя. Значит, даже краска понимает больше.

Кто-то засмеялся громче. Мужчина вернул чашку. Потом неожиданно посмотрел на Андрея. Не мельком. Прямо.

Андрей почувствовал неловкость. Ему показалось, что незнакомец сразу заметил всё: и дешёвую рясу, и руки, испачканные охрой, и то, как внимательно он рассматривает стены.

— Что видишь? — спросил мужчина.

Андрей не понял.

— Здесь.

Тот показал на стену.

Андрей посмотрел. Часть росписи была едва начата.

— Ничего.

— Плохо.

Мужчина подошёл ближе.

— Смотреть надо до того, как написано. Когда написано, всякий увидит.

Андрей снова поднял глаза. На штукатурке были только первые линии. Контуры. Ничего больше.

— Лицо, — сказал он.

— Чьё?

— Не знаю.

— А зачем сказал?

— Потому что здесь будет лицо.

Мужчина прищурился.

— Почему?

Андрей показал:

— Здесь плечо. Здесь поворот головы.

Незнакомец посмотрел туда, куда он показывал.

— Ещё?

Андрей замолчал.

— Ну?

— Свет отсюда.

Он указал на окно.

— И что?

— Если лицо будет повернуто туда, свет ляжет сюда.

Мужчина несколько секунд смотрел на него.

— Свет на стене не от окна.

Андрей понял, что сказал что-то не то. Но отступить не захотел.

— А откуда?

Уголки губ незнакомца едва заметно дрогнули.

— Вот это уже вопрос.

Он отвернулся.

Савватий подошёл к ним и вдруг остановился. На лице старца появилось выражение, которого Андрей почти никогда у него не видел: почтительность.

— Феофан.

Незнакомец посмотрел на него.

— Савватий?

— Не забыл.

— Я забываю только плохие иконы.

Старец усмехнулся.

— Значит, мои ещё терпимы.

— Твои я забыл.

Савватий рассмеялся.

И только тогда Андрей понял.

Феофан Грек.

Вот этот человек. Не высокий. Не величественный. Не похожий на тех мастеров, которых Андрей представлял по рассказам. Просто человек с краской на рукаве.

Феофан снова взглянул на него.

— Твой?

— Не мой.

— Тогда чей?

— Божий, наверное.

— Удобный ответ.

Савватий положил руку Андрею на плечо.

— Андрей.

Феофан ждал продолжения.

— И всё?

— А что тебе ещё?

— Откуда?

Савватий назвал монастырь.

Феофан кивнул.

— Пишет?

— Думает.

— Это хуже.

— Я ему говорю.

Феофан посмотрел на Андрея.

— Что пишешь?

— Пока немного.

— Все так говорят, когда хотят, чтобы спросили ещё.

Андрей почувствовал, как краснеет.

— Я не хотел.

— Хорошо. Тогда не спрошу.

Феофан повернулся и сделал несколько шагов.

Андрей неожиданно сказал:

— Лицо можно сделать живым.

Савватий резко посмотрел на него. Феофан остановился. Несколько человек поблизости тоже притихли.

— Можно, — сказал он, не оборачиваясь.

Андрей почувствовал, что должен замолчать. Но не смог.

— Тогда почему не делают?

Феофан медленно повернулся. В его лице ничего не изменилось.

— Делают.

— Не так.

Теперь Савватий тихо произнёс:

— Андрей.

Но Феофан поднял руку.

— Пусть.

Он подошёл ближе.

— Не так — это как?

Андрей пытался подобрать слова.

— Человек... когда стоит у окна, одна сторона лица светлее. Другая темнее. Глаз глубже.

Щека круглая. Нос отбрасывает тень. Если всё это написать...

— Получится человек.

— Да.

— А тебе кого надо написать?

Вопрос ударил неожиданно.

Андрей молчал.

Феофан смотрел спокойно.

— Святого.

— Значит?

— Но святой тоже был человеком.

На мгновение Андрею показалось, что в глазах Феофана появилось одобрение. Но оно тут же исчезло.

— Был.

— Тогда почему...

— Потому что ты пока пишешь то, что видят глаза.

Феофан коснулся пальцем собственного лба.

— А надо научиться писать то, чего они не видят.

Он хотел уйти. Но теперь Андрей удержал его иначе:

— А если я вижу?

Феофан остановился. На этот раз молчание длилось долго. Где-то наверху скрипнула доска. Кто-то прошёл по помосту. С улицы донёлся крик.

Феофан посмотрел Андрею прямо в лицо.

— Тогда тебе будет хуже всех.

И ушёл.

Обратно они возвращались почти в темноте. Савватий долго молчал. Андрей тоже. Но Москва постепенно затихала. Закрывались лавки. На улицах становилось холоднее. Из домов тянуло дымом и едой. Где-то ругались, где-то пели. За одним забором плакал ребёнок, и женщина уговаривала его заснуть.

Они прошли почти половину дороги, прежде чем Савватий заговорил:

— Ну?

— Что?

— Увидел.

Андрей понял.

— Увидел.

— И?

— Не знаю.

— Вот и хорошо.

— Почему?

— Потому что если бы знал, было бы глупо.

Они шли дальше.

Через некоторое время Андрей спросил:

— Он всегда такой?

— Какой?

— Будто знает, что ты скажешь.

— Нет.

— А какой?

Савватий задумался.

— Иногда хуже.

Андрей улыбнулся. Но мысли его уже были далеко.

«Свет на стене не от окна».

Он повторял эту фразу снова и снова. Что значит — не от окна? Откуда тогда? От самого образа? От Бога? От человека, который смотрит? А может быть, свет вообще нельзя писать так, как он падает в мире?

Перед глазами снова возникло лицо Пахомия. Потом мальчик возле монастырских ворот. Потом Спас с неравными глазами на торговой площади. Потом Феофан.

Все лица. Разные. Живые.

И вдруг Андрей понял одну простую вещь. Он хочет вернуться. Не в Москву. К Феофану. Не потому, что тот великий мастер, и не потому, что о нём говорят. А потому, что впервые человек не сказал ему: «Не спрашивай».

Феофан ответил вопросом.

И этот вопрос оказался страшнее ответа.

Ночевали они в небольшом монастырском подворье. Андрей долго не мог уснуть. За стеной кто-то храпел. Где-то внизу поскрипывала дверь. Снаружи бился о крышу слабый ветер.

Он лежал с открытыми глазами и смотрел в темноту. Потом встал и подошёл к маленькому окну. Москва была почти не видна. Лишь кое-где горели огни: один возле церкви, другой у большого двора, третий далеко, почти у самой стены.

Три огня.

Андрей смотрел на них и почему-то вспомнил икону, над которой работал в монастыре. Утром он хотел сделать лицо объёмнее. Потом испугался. Стёр. Теперь ему хотелось попробовать ещё раз. Но иначе. Не сделать лицо похожим на живого человека, а понять, почему живой человек становится лицом на иконе.

Он не знал, в чём разница. Пока не знал.

За окном один огонь погас. Потом второй. Последний горел ещё долго.

Андрей вернулся на лежанку, закрыл глаза. И прежде чем уснуть, снова услышал голос Феофана: «Смотреть надо до того, как написано».

Этой ночью ему приснилась пустая доска. Он стоял перед ней с кистью и долго не решался коснуться поверхности. Потом появилась первая линия, за ней вторая, третья. Постепенно возникли три фигуры. Они сидели вокруг стола. Лиц не было.

Андрей хотел написать глаза одному из них, но рука не поднималась.

Тогда средний повернул к нему пустое лицо.

И Андрей проснулся.

Было ещё темно. До утрени оставалось время. Он сел. Сердце билось быстро. Сон уже исчезал, растворялся, как всякий сон после пробуждения. Только три фигуры почему-то оставались перед глазами.

Андрей перекрестился. Потом лёг снова.

Он ещё не знал, что однажды будет вспоминать этот сон много лет спустя, когда перед ним действительно окажутся три ангела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛИК

Обратно в монастырь они вернулись под вечер.

Дорога заняла почти весь день. Сначала шли по промёрзшей колее, где под тонким слоем снега хрустела грязь, потом вышли на открытое поле, и там ветер сразу стал сильнее. Он тянул с востока, забирался под одежду, заставлял пригибать голову и идти молча. В низинах между полями стоял сизый туман, над дальними избами поднимались тонкие столбики дыма, а по обочинам торчали из снега прошлогодние жёсткие стебли.

Савватий почти не разговаривал. Андрей тоже. Но молчание у них было разное. Старец, казалось, просто экономил силы. Он шёл ровно, не торопясь, лишь иногда поправлял котомку за плечом и останавливался перевести дыхание. Андрей же продолжал разговаривать — только не вслух. Всю дорогу он возвращался мыслями к Москве: к стенам собора, к незаконченной росписи, к человеку с краской на рукаве.

«Смотреть надо до того, как написано».

Фраза не отпускала. Что именно нужно увидеть прежде? Форму? Линию? Цвет? Или то, чего ещё нет на стене?

Андрей несколько раз хотел спросить Савватия о Феофане, но всякий раз откладывал. Наконец, когда впереди уже показалась тёмная полоса леса, он не выдержал.

— Отец Савватий.

— Мм?

— Ты давно его знаешь?

Старец не спросил кого.

— Давно.

— Насколько?

— Настолько, чтобы не хотеть знать ещё дольше.

Андрей улыбнулся.

— Почему?

— Потому что после разговора с ним человек либо думает слишком много, либо сердится.

— А ты?

— Я старый. Мне можно и то и другое.

Они прошли ещё несколько шагов.

— Он всегда так говорит?

— Как?

— Будто каждый ответ нарочно оставляет наполовину.

Савватий усмехнулся.

— Нет. Иногда он вообще не отвечает.

— А почему его считают великим?

Старец остановился. Ветер трепал край его капюшона. Он посмотрел на Андрея внимательно, будто вопрос требовал не обычного ответа.

— Потому что когда смотришь на его работу, забываешь о мастере.

— Разве это не со всеми хорошими иконами?

— Должно быть.

Савватий повернулся и снова пошёл.

— Но не со всеми выходит.

— А с его?

— Выходит.

Андрей задумался.

— Тогда почему он сказал, что свет на стене не от окна?

Савватий вздохнул.

— Потому что любит такие слова.

— Нет.

— Что «нет»?

— Он не просто сказал.

Старец покосился на него.

— Ты уже защищаешь его?

— Я хочу понять.

— Вот это и опасно.

— Почему всё у тебя опасно?

— Потому что ты пока молодой и тебе кажется, что опасно только то, что убивает.

Он помолчал.

— А человеку чаще всего вредят вещи, которые его не убивают.

Андрей хотел спросить ещё, но Савватий уже снова замкнулся в молчании.

К монастырю подошли, когда начало темнеть. За стеной звонили к службе. Колокол звучал глухо, по-зимнему. Мороз крепчал, и каждый удар будто дольше держался в воздухе.

У ворот Савватия сразу остановил келарь.

— Привёз?

— Привёз.

— Всё?

— Нет, половину по дороге съел.

Келарь посмотрел на него без улыбки.

— Я серьёзно.

— И я.

Старец протянул ему небольшой мешок.

— Охра. Киноварь. Чернь. Золота не взяли.

— Почему?

— Потому что мы не великий князь.

Келарь недовольно нахмурился.

— Я просил посмотреть.
— Посмотрел.
— И?
— Дорого.
— Насколько?
Савватий назвал цену.
Келарь присвистнул.
— Вот.
— А синь?
— Тоже.
— Хорошая?
— Хорошая.
— Тогда почему не взял?
— Потому что хорошее чаще всего дороже нужного.
Он передал ему остальное и пошёл дальше.
Андрей задержался.
— А если понадобится?
Келарь посмотрел на него.
— Что?
— Синяя краска.
— Найдём.
— Такая же?
— Какая такая?
Андрей уже понял, что объяснять бесполезно.
— Ничего.
Он поспешил за Савватием.

На следующее утро Андрей пришёл в иконописную палату раньше всех. Печь ещё не растопили. В помещении было холодно, на внутренней стороне окна белел тонкий узор льда. Он снял рукавицы, подышал на пальцы.

На столе стояла его доска. Тот самый лик. За дни отсутствия краска окончательно высохла.

Андрей поставил икону ближе к окну и смотрел долго. Теперь она казалась ему другой. Не хуже. Но словно чужой. Слишком правильной. Лоб, нос, глаза, губы — всё на месте, всё сделано так, как учили. И именно это вдруг стало раздражать.

Он отошёл. Посмотрел издали. Лик был строгий, спокойный, даже красивый. Но в нём не было того, что Андрей видел в людях. Не было внутреннего движения.

Он вспомнил глаза Спаса на торговой площади: один мягче, другой строже. Там была ошибка. Наверное. Но именно она заставляла смотреть.

Андрей снова сел. Взял кисть. Потом положил. Встал. Прошёл к окну. Во дворе брат Митрофан нёс охапку дров. Свет был слабый, серый. Лицо почти не различалось.

И вдруг Андрей понял, что ему нужен не свет.

Нужна тень.

Он резко повернулся к доске.

Савватий вошёл через полчаса. Остановился у двери. Андрей не услышал. Старец молча снял верхнюю одежду, подошёл к печи, положил поленья. Только потом посмотрел на доску.

— Уже начал?

— Да.

— Без меня?

— Ты всегда говоришь, что художник должен работать сам.

— Я говорю много глупостей.

Андрей не ответил.

Савватий подошёл ближе. Сразу заметил.

— Что изменил?

— Ничего.

— Не ври.

— Я не...

— Врёшь плохо. Это хорошо.

Он наклонился. Лик стал мягче. Переходы между светом и тенью теперь были менее резкими. Глазница чуть углубилась. Скулы едва заметно округлились. Изменения были малы, но для человека, который сам писал иконы десятки лет, очевидны.

— Зачем?

Андрей отложил кисть.

— Хочу посмотреть.

— Что?

— Как будет.

— Это не ответ.

— Другого нет.

Савватий выпрямился.

— Есть.

Андрей посмотрел на него.

— Ты вернулся из Москвы и решил проверить, прав ли Феофан.

Слова попали точно. Андрей промолчал.

— Вот. Уже лучше.

— Он не говорил делать так.

— Тем хуже.

— Почему?

— Потому что если бы говорил, вина была бы его.

— А сейчас?

— Сейчас твоя.

Андрей почувствовал раздражение.

— В чём вина?

Савватий сел напротив.

— Я не сказал, что вина есть.

— Тогда почему ты так говоришь?

— Потому что ты уже защищаешься.

Несколько мгновений они молчали. Андрей первым отвёл глаза.

Савватий смягчился.

— Покажи.

Он придвинул доску и смотрел долго.

— Рука хорошая.

Андрей не ожидал похвалы.

— Правда?

— Не радуйся.

— Почему?

— Потому что сейчас скажу неприятное. Ты сделал лицо убедительнее.

— Значит...

— Я не закончил. Смотри. Здесь глаз ушёл внутрь. Здесь скула поднялась. Здесь свет стал мягче.

— Именно.

— И теперь я вижу, как устроено лицо.

— Да.

— А должен видеть святого.

Андрей нахмурился.

— Почему одно мешает другому?

— Потому что ты заставляешь меня думать о плоти.

— Но у святого была плоть.

— Была.

— Тогда...

— Андрей.

Савватий говорил спокойно.

— Ты всё время споришь так, будто хочешь победить.

— Нет.

— Хочешь.

Он указал на доску.

— А икона не спор.

— Тогда что?

Старец не ответил сразу.

— Молитва.

Андрей посмотрел на лик.

— Молитва тоже бывает разной.

— Бывает.

— Кто-то говорит тихо. Кто-то плачет. Кто-то молчит.

— Верно.

— Тогда почему икона должна говорить только одним голосом?

Савватий замер. Несколько секунд он смотрел на Андрея уже иначе — не как учитель на ученика, а как один человек на другого.

— Вот теперь мы подошли туда, куда я не хотел.

— Куда?

— К тебе. До этого ты спрашивал о краске, о свете, о лице. А теперь спрашиваешь, имеешь ли право говорить своим голосом.

Он постучал пальцем по краю доски.

— Это другой вопрос.

— И какой ответ?

Старец посмотрел на него устало.

— Если бы я знал, не сидел бы здесь.

К полудню палата наполнилась людьми. Пришёл Фома. Потом брат Кирилл, который готовил доски. Появился молодой послушник Игнатий с миской клея. Все занялись делом. Но Андрей чувствовал, что Савватий время от времени смотрит на его работу.

Сам он продолжал очень медленно. После разговора стало страшнее. Раньше он думал только о том, получается или нет. Теперь появился вопрос: имеет ли он право? И от этого каждое движение кисти становилось тяжелее.

Фома, сидевший напротив, долго наблюдал.

— А что ты делаешь?

Андрей не поднял головы.

— Пишу.

— Я вижу.

— Тогда зачем спрашиваешь?

Фома усмехнулся.

— Савватий тебя испортил.

— Чем?

— Отвечаешь как он.

— Это плохо?

— Очень.

Фома пересел ближе.

— Покажи.

— Работай.

— Я работаю.

— У тебя архангел без руки.

— Уже с рукой.

— Тогда без пальцев.

Фома обиделся.

— Пальцы будут.

— Когда?

— Не знаю.

— Вот и работай.

Фома всё равно придвинулся и посмотрел.

— Красиво.

Андрей замер. То же слово. Он вспомнил первый разговор с Савватием.

— Что?

— Лицо.

— Почему?

Фома пожал плечами.

— Как настоящее.

Андрей положил кисть.

— Вот именно.

— Что?

— Ничего.

Фома ещё раз посмотрел на доску.

— А мне нравится.

— Тебе всё нравится, что блестит.

— Оно не блестит.

— Значит, стало хуже.

Фома засмеялся. Но Андрей уже не слышал.

«Как настоящее».

Именно этого он хотел. И именно эти слова вдруг показались ему неправильными.

После обеда пришёл игумен. Редко. Обычно в палату он не заходил без необходимости.

Все сразу поднялись.

Игумен был человек высокий, сухой, с длинной бородой и тяжёлым взглядом. Он не любил говорить лишнего. Прошёл вдоль столов, посмотрел работу Кирилла, потом Фомы, остановился возле Андрея.

— Это твоя?

— Моя, отец.

Игумен наклонился. Андрей почувствовал, как внутри всё сжалось. Савватий стоял в стороне. Не вмешивался.

Игумен смотрел долго.

— Кто учил?

— Отец Савватий.
— Вижу.
Старец чуть усмехнулся.
Игумен поднял глаза.
— А это кто учил?
Андрей сразу понял.
— Никто.
— Тогда откуда?
— Я...
Он запнулся. Игумен ждал.
— Я увидел.
— Что?
Андрей посмотрел на лик.
— Как ложится свет.
Тишина в палате стала тяжёлой. Фома перестал дышать.
Игумен перевёл взгляд на Савватия.
— Ты разрешил?
— Я разрешил ему работать.
— Я спрашиваю не это.
Савватий медленно подошёл.
— Он пробует.
— На заказной иконе?
— Я исправлю, если понадобится.
Игумен снова посмотрел на Андрея.
— Зачем тебе это?
Теперь вопрос прозвучал без гнева. Даже с некоторым любопытством.
Андрей собрался.
— Потому что лицо живое.
— Чьё?
— Человеческое.
— А здесь?
— Святого.
— Он не человек?
— Человек.
— Тогда в чём вопрос?
Андрей растерялся. Он ожидал запрета, но получил то же, что у Феофана: вопрос.
— Я не знаю.
Игумен кивнул.
— Это честно.
Он сел на свободную скамью.
— Что тебя мучает?
Андрей почувствовал, что все слушают, и от этого стало неловко.
— Мне кажется...
Он замолчал. Игумен не торопил.
— Мне кажется, мы можем писать больше.
— Больше чего?
— Жизни. Свет. Тень. Лицо. То, как человек выглядит.
Игумен смотрел внимательно.
— А зачем?

— Чтобы образ был... ближе.

— К чему?

Снова вопрос.

Андрей поднял глаза.

— К человеку.

Игумен кивнул.

— А должен быть?

Андрей промолчал.

— Вот видишь. Ты хочешь приблизить образ к человеку.

— Да.

— А если задача обратная?

— Что значит?

— Если не образ должен спуститься к человеку, а человек подняться к образу?

Никто не говорил. Даже Савватий смотрел на игумена с интересом.

— Тогда вся твоя работа меняется, — продолжил тот. — Если ты пишешь человека так, как видишь его глазами, он становится узнаваемым.

— Да.

— Но святой — не просто тот человек, которого когда-то видели глазами.

— Нет.

— Тогда что ты пишешь?

Андрей посмотрел на доску и не смог ответить.

Игумен поднялся.

— Не спеши. Есть вопросы, которые нельзя решить одной кистью.

Андрей тихо спросил:

— А чем?

Игумен посмотрел на него.

— Жизнью.

И вышел.

После его ухода никто долго не говорил. Первым нарушил тишину Фома.

— Я бы после такого вообще бросил.

Савватий фыркнул.

— Ты и до такого едва не бросаешь.

— Я серьёзно.

— Поэтому и не станешь мастером.

— А Андрей станет?

Савватий посмотрел на него.

— Если не умрёт от собственных мыслей.

Фома засмеялся. Андрей тоже. Напряжение чуть спало. Но вопросы остались.

Вечером Андрей не пошёл в палату. Он вышел за монастырскую стену. Недалеко начинался лес. Дорога туда была почти не протоптана. Снег лежал ровно. Между деревьями уже сгущались сумерки.

Андрей шёл медленно. Ему хотелось тишины. Но тишина тоже оказалась наполненной: скрипел снег под ногами, где-то стучал дятел, с ветки упал ком снега, вдалеке каркнула ворона.

Он остановился возле старой сосны. На коре лежал последний свет. Одна сторона ствола была золотистая. Другая почти чёрная.

Андрей смотрел.

Вот оно. Свет. Тень. Объём. Всё просто. Так устроен мир. Никто не запрещает сосне быть круглой. Никто не запрещает человеческой щеке ловить свет. Никто не запрещает глазу быть глубже лба. Почему же на доске всё должно становиться иным?

Он сел на упавшее дерево. Холод сразу прошёл через одежду, но Андрей не заметил. Мысли шли одна за другой.

Может быть, икона действительно не должна повторять мир. Но тогда почему для неё нужны краски из мира? Охра — земля. Чернь — сажа. Зелень — камень. Синь — камень. Яйцо. Вода. Дерево. Золото. Всё земное.

А из этого земного человек пытается сделать неземное.

Разве это не странно?

Может быть, именно поэтому икона существует. Не потому, что отрицает видимое. А потому, что преображает его.

Слово пришло само.

Преображает.

Андрей поднял голову. Лес становился тёмным. Но снег ещё светился.

Он вспомнил Феофана: «Свет на стене не от окна».

Теперь фраза начала казаться понятнее. Не совсем. Но ближе.

Свет может быть не тем, который падает на лицо.

А тем, который выходит из него.

Эта мысль заставила Андрея замереть.

Из лица. Не на лицо.

Он поднялся так резко, что снег осыпался с бревна. Почти побежал обратно.

Палата была пуста. Андрей зажёл свет, поставил икону, сел. Долго не касался кисти.

Теперь он понял, что ошибался. Он пытался сделать лицо объёмнее так, как делает его объёмным дневной свет: одна сторона светлая, другая тёмная.

Но если свет должен исходить изнутри?

Тогда всё иначе.

Он взял очень тонкую кисть. Добавил светлого. Коснулся лба. Потом скулы. Потом области под глазом. Не как раньше. Не чтобы показать округлость. Чтобы дать лицу внутреннее свечение.

Работал долго. Иногда вставал, отходил, смотрел, возвращался. В какой-то момент перестал думать. Рука пошла свободнее — не быстро, но уверенно.

Лицо менялось. Оно всё ещё сохраняло условность. Линии оставались строгими. Но появилось что-то новое.

Не телесность.

Жизнь.

Андрей не сразу понял разницу.

Потом услышал за спиной:

— Вот.

Он резко обернулся. Савватий стоял у двери.

— Давно ты здесь?

— Достаточно.

Андрей встал.

— Я...

— Молчи.

Старец подошёл, взял доску, поднёс ближе к свету. Смотрел долго. Очень долго.

Андрей не выдержал.

— Ну?

Савватий поставил икону обратно.

— Теперь лучше.

— Правда?

— Не радуйся.

— Опять?

— Всегда.

Но в голосе была улыбка.

Андрей сел.

— Я понял.

— Что?

— Не нужно делать лицо как настоящее.

Савватий кивнул.

— Продолжай.

— Нужно, чтобы оно было живым.

— Это разные вещи?

— Да.

— Чем?

Андрей задумался.

— Настоящее лицо зависит от света.

Он посмотрел на икону.

— А здесь свет должен зависеть от лица.

Савватий медленно сел напротив. Впервые за долгое время его лицо стало совершенно серьёзным.

— Кто тебе это сказал?

— Никто.

— Феофан?

— Нет.

— Игумен?

— Нет.

— Тогда откуда?

Андрей пожал плечами.

— Не знаю.

Савватий снова посмотрел на икону.

— Запомни эту ночь.

— Зачем?

— Потому что завтра можешь решить, что всё понял.

— А я не понял?

Старец улыбнулся.

— Если бы понял, было бы совсем плохо.

Он поднялся.

— Иди спать.

Андрей не двинулся.

— Я ещё посижу.

— Сиди.

Савватий дошёл до двери, остановился.

— Андрей.

— Что?

— Только не влюбляйся в то, что написал.

— Почему?

— Потому что завтра придётся исправлять.

Он вышел.

Андрей снова остался один.

Утром палата наполнилась серым светом. Андрей пришёл первым, посмотрел на икону — и сразу увидел ошибку. Вчера казалось прекрасным. Сегодня — слишком мягко.

Он рассмеялся. Тихо. Самому себе.

Савватий оказался прав.

Андрей взял кисть. Начал исправлять. Теперь уже без торопливости, без желания доказать. Убрал лишнее. Вернул часть строгости. Ослабил переход возле скулы. Сделал свет на лбу тоньше.

Лицо стало проще.

И почему-то сильнее.

Он работал до тех пор, пока за спиной не появились Фома и остальные.

— Опять переделал? — спросил Фома.

— Да.

— Зачем?

Андрей посмотрел на доску.

— Было слишком хорошо.

Фома уставился на него.

— Ты теперь совсем как Савватий.

— Боюсь, хуже.

И впервые за много дней Андрей почувствовал спокойствие. Ненадолго. Потому что теперь он знал ещё одну вещь.

Канон не был стеной. Но и свобода не была дверью.

Между ними существовало что-то третье — тонкая тропа. И пройти по ней можно было только самому: без карты, без уверенности, без права считать, что ты уже пришёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.